

Янтариное ожерелье

ГЛАВА 1 ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ СОН

И ВОТ ей приснились цветы, но... бумажные. И, по привычке разговаривать с мертвой природой, она сказала им прямо во сне, что они, цветы, — глупые, жалкие, хоть и красивые своими нежными красками и гофрированной бумагой. Этот памятный сон не тянулся, как другие сны, путаными картинками, а пришел весь сразу и пропал. И, еще не просыпаясь, она решила, что сон этот непременно сбудется, потому что он соответствовал многим ее настроениям. В живой действительности она терпеть не могла бумажных цветов, из-за этого у нее даже происходили ссоры с ее теткой Ниной Петровной.

Еще до той невыразимой минуты, когда глаза захватят весь окружающий мир, она почувствовала великое счастье в душе. И сон, и счастье в душе не означали для нее ничего непонятного, тем более — мистического. Сегодня предстоял переезд в новый дом... новый до восторга, до невероятности! Вот и все. А что касается сновидений вообще, то они у нее естественно и просто переходили в жизнь, как мечты и неясные думы, скрытые надежды и дурные предчувствия. — словом, все, чем живет человек. Даже жуткие сны не отягощали ее поутру... Может быть, потому, что ей не было еще двадцати лет.

Она всегда об этом помнила. Пусть она, Ирина Полынова, по паспорту человек уже совершеннолетний, и все же — девятнадцати, а не двадцати лет...

«Я, — часто говорила она с собою, — еще никого не любила». Школьные романы она в счет не брала. Да и что там было, в этих романах?.. Одни пустяки. Это общеизвестно. А любовь оставляет след в жизни человека. Это тоже общеизвестно. В этом смысле жизнь ее проходила бесследно.

Но был в ее жизни след огромный, вечный. Ирочка в первый год Отечественной войны потеряла мать и отца. Это потрясло все ее существо. Но и этот страшный удар в детстве не перешел в непреходящую грусть и боль. Впрочем, оставалось что-то... Внимательный и чуткий взгляд открыл бы «что-то» в этих, всегда чуть

Драматург Н. Погодин в настоящее время работает над повестью «Янтариное ожерелье». Сегодня мы печатаем две главы из этой повести.

сдвинутых бровях, в зрачках, которые иногда останавливались и леденели, в улыбке, которая всегда появлялась медленно и точно с борьбой. Но для того, чтобы это заметить и установить, нужен был взгляд очень уж тонкий.

Проснувшись, Ирочка беззвучно засмеялась. Ленясь повернуть голову, она скосила глаза и увидела на полу огромный, туго стянутый узел. Действительность подтверждала ее настроение: они сегодня переезжали.

Из своего угла за коричневой выцветшей репсовой ширмой дядя Иван Егорович хрипло спросил:

— Ты чему, Ирка?

Его душил утренний кашель закоренелого курильщика, но слышал он удивительно и уловил даже беззвучный смех Ирочки.

— Так просто... от радости, — ответила она тем тоном, каким отвечают очень близким людям, понимающим вас с полуслова.

— От какой?

— Вот тебе... Сегодня, кажется, мы переезжаем.

— Ааа... почти безразлично откликнулся Иван Егорович и погрузился в свой тяжелый утренний кашель.

Будь дома жена, она выгнала бы его кашлять на балкон кухни, выходящий во двор. Но она находилась сейчас на своем дежурстве в больнице, и Ивану Егоровичу было раздолье жить, как хочется, — кашлять, курить, говорить с Ирочкой на разные веселые темы, не вставая с постели.

Но самое интересное, что тайлось в последние дни в его сияющих голубых глазах, состояло в припрятанной покупке, которую он сделал для племянницы. Примерно неделю тому назад он съездил в центр города, разыскал там магазин «Русские самоцветы» и купил за двести пятьдесят рублей ожерелье белого, какого-то необыкновенного янтаря.

Кашель налетал, как ветер, на бледную худую грудь Ивана Егоровича и не давал придумать, как вручить Ирочке эту великолепную покупку. Можно ошарашить... Можно, например, сказать предисловие со смыслом... Можно — совсем просто: «На... и не говори тетке». Но как же не говорить, если она очень проницательная? А тут и проницательности-то не надо. Ирочка сейчас не работала и своих денег у нее не было. Проклятый кашель не давал сосредоточиться.

ВСЕ ДЕЛО в том, что Иван Егорович был дядей Ирочки через супругу. А настоящей тетенькой, то есть родной сестрой покойной матери Ирочки, была Нина Петровна. И ей нельзя было заикнуться, что Ирочке куплено ожерелье. И не потому, что тетка была злым гением. Не потому, что ожерелье стоило двести пятьдесят рублей. Нет! Могло стоить дороже или в десять раз дешевле. Это тоже ничего не меняло. У Нины Петровны были свои взгляды. Под эти взгляды подарок ожерелья не подходил.

Ирочка лежала и молча ждала, когда стихнет Иван Егорович, чтоб поговорить. Она смотрела на мутный зеленоватый потолок и прощалась с ним, законченным и мутным, легко и нежно. Прощалась она также и с ветхим абажуром, расплывшимся от прикосновения. В последний прощальный раз она прислушивалась к утренним звукам их старинной московской улицы, которые, казалось, никогда не меняли своих тонов и ритмов. Но сегодня до нее донеслось что-то новое. Она прислушалась. Внизу — а они жили на пятом этаже — шумели чужие голоса и даже временами кто-то начинал лихо петь. Голоса были неизвестные.

Странно. Неужели приехали новые жильцы, которые переселялись на их место? Не должно бы. Дому предстоял большой ремонт.

Прощаться надо было и с этими утренними диалогами, которые велись по утрам между нею и дядей в те дни, когда тетка бывала на дежурстве. Диалоги эти доставляли им обоим огромное удовольствие. С давних пор Иван Егорович вкрапывал в характер Ирочки свои собственные человеческие качества. А ей никогда не думалось, будто Иван Егорович ее поучает, как надоедливо поучала тетка.

Они говорили обо всем на свете. У Ивана Егоровича был большой жизненный опыт. У Ирочки — десять лет школы. Но только не надо думать, будто они вели какие-то углубленные беседы по определенной системе. Нет, единственной системой, вносившей в их разговоры глубокую содержательность, был живой интерес к жизни.

Да, и с беседами надо прощаться... В новом доме Ирочка будет жить в отдельной комнате, Иван Егорович с теткой поместятся в главной, большой, так что уж не поговорить по утрам...

Гомон неизвестных голосов во дворе перешел теперь куда-то наверх, видимо, на крышу. Внизу кто-то по-прежнему порывался лихо запеть... Утро было, каким полагается ему быть в майские дни. Иван Егорович стих, но голоса не подавал. Иногда это с ним случалось. Ирочка знала, что в таких случаях он думает о чем-то серьезном... потом скажет... надо помолчать. А он теперь думал о том, что, вот-вот, и спадут майские холода, пройдут непогожие ночи, и тогда надолго он воцарится у себя на даче, и какое будет тогда счастье! Всю свою долгую жизнь с Ниной Петровной как курильщик он страдал. Она выгоняла его курить за двери, когда бывала дома, и точила за то, что он курил в их комнате без нее. Он проветривал помещение, применял душистые вещества, озонаторы и даже окуривал комнату ладаном, но жена все равно, войдя на порог, злое слово произносила: курил. Выгоняла... это было именно то самое слово, которое определяло их отношения в данной области. И он уходил за дверь... всю жизнь... около сорока лет.

ИРОЧКЕ надоело молчание, и она, деланно зевая, точно сейчас проснулась, позвала дядю:

— Ты там живой, Иван Егорович?

— Я-то... Ну, конечно... Вот думаю.

— О чем, не секрет?

— Как я буду жить на даче.

Ирочку смешило слово «дача», потому что там у них (де-то в глуши под Москвой) чисто дачного было всего ничего. Она иронически передразнила:

— На даче... тоже уж дача.

— Погоди... — он чуть рассердился. — Дача, а что? Превосходно. И я там буду курить сколько хочу. Не выноят. А!

В последнем возгласе заключалось великое торжество. Ирочка тихо засмеялась.

— Кто о чем...

— А что? Покурить дома всталась, не как бесу изгнанному... А!

Ирочке сделалось смешно и больно. Бедный Иван Егорович! Чем терпеть всю жизнь такое ущемление, она на его месте либо курить бы бросила, либо тетку бросила... Последнее скорее всего.

— Я на твоём месте бросила бы курить.

— Ну вот еще... — спокойно проворчал он.

— Или развелась бы с Ниной Петровной. Но эти слова его, по-видимому, ужаснули. Он вспыхнул, как спичка:

— Бесстыдница! — сделал паузу и напустился на нее. — Как ты можешь сказать такую ересь?! Развестись... с кем? Ты подумай. Она* мне родная жена, тебе родная тетка. Мы с нею всю жизнь провели.

«Провели... — подумала Ирочка. — Вот именно, что провели». Ей сделалось донельзя весело, и дядю она любила сейчас, как никогда.

— Ты же всю жизнь не мог накуриться... Она тебя гоняла, как беса. Сам сказал.

Он кричал:

— Как можно! Она есть жена, то есть супруга. Ты понимаешь эти слова или не понимаешь?! В них — корень человеческой жизни. Определение! Я тебя за родную дочь считаю... а ты что?.. Разведись. Будто не в нашей семье живешь! Стыд.

Он кричал, но Ирочка знала, что крики его происходят от потребности показать себя гневным. На самом деле он и не знал, что означает подлинный гнев. Это чувство выражалось у него скорбью, обидой и презрением к людям, на которых по-настоящему надо было гневаться.

— Ах ты, Ирка, Ирка... плохое у тебя мнение о семейной жизни. Берегись.

Он умолк, пошумел спичками, тихо закурил. Утро началось, как всегда, и этот всплеск тоже не был исключительным случаем в их беседах. Ирочка, как сказано, еще сильнее любила Ивана Егоровича за его моральную чистоту.

— Я ведь в шутку сказала, дядя.

Он не ответил. Значит — сердился все же. И не надо его умилять. Он не любил, когда перед ним ластились, как терпеть не мог всяческую человеческую унижительность. Но говорить хотелось, потому что сердце ее ныло сладкой болью несказанного счастья.

— Дядя, ты не знаешь, кто это у нас во дворе гомонит?

— Не знаю.

— Сейчас они по крыше ходят.

— Ничего не знаю.

— Да ты не сердись, пожалуйста. Ведь я в шутку.

— И шутить опасно. Нельзя. Берегись.

— Да чего мне беречься, дядя?

— Чего беречься, чего беречься... Сама думать должна. С чужих рук живете. Я у тебя новый ваш журнал видел... юношеский. Читаю — глазам не верю: некая дура спрашивает редакцию, как ей с кавалером гулять... чего позволять, чего не позволять. Печатают. Значит, нужно печатать, раз вы такие несамостоятельные. Это ж надо! Чего позволять, чего не позволять... Ну, хорошо, редакция ей ответит: вали, позволяй... Она, что же, так и поступит, как редакция скажет? И ты тоже от той дуры недалеко ушла. Чего ей беречься? Да ежели ты не знаешь, чего в жизни тебе надо беречься... — он не окончил мысли, так это его возмущало.

— Я понимаю, о чем ты говоришь, все понимаю, — ласково и серьезно сказала Ирочка.

Он помолчал. Потом, успокоившись, ворчливо повторил:

— Разведись... — и прибавил веселая, — даже в шутку сказать такое есть величайшая глупость.

Ирочка дружелюбно спросила:

— Долго ты меня будешь есть?

И ему, как человеку мягкому, что у Нины Петровны считалось крайней бесхарактерностью, захотелось сейчас

Янтарное ожерелье

(Окончание. Начало на 2—3-й стр.)

своими мутными стеклами... Рта у него не было. Только — серые щеки и голова в виде капюшона.

- Ты что?! — с воинственностью сказала Ирочка. Ей отозвался грубый и приглушенный голос:
- Ничего.
- Нет, я спрашиваю, ты кто?
- Никто.
- Ну и глупо. Ты водолаз?
- Дура.

Ирочка сделала презрительную мину на лице.

- Болтается под чужими окнами и оскорбляет.
- Сама — первая...
- Что «первая»?
- Не успела узнать человека и сразу «глупо». Подумаешь, образованная.

Ирочка решила поиграть с этим материальным привидением:

- А ты разве человек?
- Тогда привидение чудесным движением, которое трудно уловить, сбросило оболочку, и под ней оказалась чудесная лихая голова в кепке.
- «Какой красивый...» — подумала она с радостью: ведь под капюшоном мог оказаться старый небритый мужик. А парень знал, как он выделяется своей красотой, и нарочито долго не открывал лица, когда увидел в комнате девушку.

- Как же ты... Вообще... Как ты тут? Зачем? — стала просто и с насмешкой говорить Ирочка.
- Невест ищущ по этажам.
- Неостроумно.
- Ишь ты!
- Что «ишь ты»?
- Образованная?
- Да. Образованная. Ну и что?
- А мне плевать.

Говорил парень лихо, с вызовом и, красуясь своей лихостью, стал эффектно закуривать сигарету.

И если не знать странных особенностей языка, на котором говорили этот лихой парень и Ирочка, то можно подумать, что они очень грубы друг с другом и ничего не знают, кроме «подумаешь», «плевать» и отрывистых фраз, смахивающих на какой-то жаргон. Знать-то знают,

но уже не говорят на том языке, на котором говорило довоенное поколение не только у нас, но и во всем мире. А странности тут состоят в нарочитой простоватости, в кажущейся пренебрежительности друг к другу, в стремлении ничего не сказать до конца. Ирочка и не подумала обижаться, когда лихой незнакомец сказал, что ему плевать на нее. Она отлично понимала, что за этими словами не стоит никакого презрения к ней.

- Ну, так серьезно... Чем ты тут занимаешься?
- Дом ваш буду очищать.
- Пескоструйщик!

Ирочка обрадовалась. Но вся необычайность встречи пошла насмарку. Глаза как бы открылись. Ирочка увидела тросы за спиной парня и под ногами его — люльку. Он болтался сейчас под крышей на их этаже, изучая поверхность старой гранитной облицовки их дома.

- Давно овладел профессией?
- Первый год.
- Удовлетворяет?
- Как сказать...
- А что?
- Заработать не дают.
- Кто?
- Есть таковые...

Теперь уже можно было считать, что они познакомились. Она спрашивала без игры, по делу, и он отвечал ей по делу, как человеку, которому можно как-то доверять.

— А тебя как зовут? — спросил он, делаясь почему-то грустным.

- А зачем?
- Так ведь... — и не нашелся дальше.
- Что?
- Может быть, у нас хорошее знакомство получится.
- А зачем?
- Наладила... Меня, например, зовут Володькой... Левадов.

- Не слыхала.
- Будет тебе... С нею, как с человеком... Володька я. Ирочка передразнила его:
- А меня зовут Иркой.

Володька неожиданно протянул руку. Рука была широкая, сильная.

— Ну, здравствуй... — и какая-то нотка нежности прозвучала в его слове. И был он до удивления мил с этим неожиданным жестом и мягким словом.

- Здравствуй, — Ирочка дотронулась до его руки.
- Вот так.
- Так.

Последовало молчание, и пролетел тот бездонный миг, в который свершается чудо любви. Ирочка впитала в свое сердце тревожный и буйный взгляд Володьки. Глаза у него были черные, страшные... может быть, страшные для Ирочки. А девушки из бригады, в которой работал Володька, называли его глаза просто непутевыми, бригадир — хулиганскими.

— А то «зачем, зачем»... — сказал он самоуверенно, как после легкого и неизменно удачного дела. — Можно, кажется, и без «зачем».

— Вот именно. По-нашему...

Но он не понял. Ирочке стало скучно от того, что не понял. Наверно, — деревенщина, и продолжает оставаться первым парнем на деревне, и много понимает о своей уличной неотразимости.

- Всего хорошего, Володька.
- Будет тебе... — почти жалобно протянул он.
- Гут бай.
- Что?!
- Прощай, красивый.
- Будет тебе... Никто красивым себя не считает. Вот ты, действительно, хорошенькая.
- Румёная? — спросила она, нарочито выделяя букву «ё».

Теперь понял. Усмехнулся:

- Ты за рязанского меня считаешь. Я не оттуда.
- А откуда?
- «Тихай Дон» писателя Шолохова читала?
- Приходилось.
- Я сам оттуда.

Он произнес не «тихий», а «тихай», щеголевато, по-качьи, и потянулся к ней с юношеским озорством, желая привлечь ее к себе... А ей захотелось не видеть, бросить его, закрыть окно. Она так и сделала бы, но мешали цветы. Тогда она молча повернулась и пошла к столу, не зная, что еще можно сделать.

— Уходишь?.. Зря, девушка... Пошли бы вечером в кино. Она не повернула к нему головы.

- Голос, уже знакомый Ирочке, зазвучал сверху, с крыши:
- Володька, где ты там?!
- Здесь... не ори.

— Какого дьявола! — кричал кто-то сверху. Ирочка слушать не стала. Шла брань. Тут же не то подняли, не то опустили Володьку. Он исчез.

ДУМАТЬ или не думать? На Ирочку накатило неожиданное раздумье. Она остановилась у стола, не зная, что ей надо было делать в доме. Вот какая новость! Неизвестный Володька... с наглыми глазами... который ничего не понимает... И вот она думает, как ей быть, думать или не думать о нем? Значит, произвел впечатление. Плохо.

Есть много людей, в особенности среди молодежи, которые твердо знают, что заниматься своими внутренними чувствами — значит вдаваться в такую сомнительную область, которая называется «самоковырянием». Ирочка была исключением. Видимо, потому, что она росла без родителей, ей приходилось больше других детей заниматься уединенными размышлениями. И раздумывая над своими чувствами, она постигла огромную истину о коренном отличии человека от всего живого на земле. Человек тем и прекрасен, тем и высок, что он носит в себе свой внутренний мир, управляет этим сложным миром, создает его. Пусть душа человека есть зеркало, отражающее текущую вокруг нас жизнь, но зеркало это живое, духовное, окрашивающееся идеями, возникающими в уме и сердце человека.

Чтобы управлять собой, надо знать доступ к своему внутреннему миру. Ирочка его знала. И не случайно возник этот тревожный вопрос, думать или не думать о том, что случилось у окна.

«Ничего не случилось». Так говорил ум. «Случилось». Так говорило чувство. И так как Ирочка умела разбираться в механизме своего внутреннего мира и отличала голос разума от голоса чувства, то ей стало тревожно от нахлынувшего на нее, казалось, ненужного раздумья.

«Не думать, не думать, не думать»... — с настойчивой силой веселья пресекла Ирочка голос несмелого чувства и легко стала лгать себе, что она не хочет и не будет думать о таком пустяке, как бестолковый разговор с каким-то пескоструйщиком...

Но вдруг ей пришла на ум совершенно несуразная мысль. «А что если поговорить с пескоструйщиком насчет работы, — что будет?» За год после окончания школы она овладевала двумя профессиями, но как-то не овладела. Из шляпной мастерской, куда ее устроила тетка, пришлось уйти потому, что оттуда ее просто-напросто выгнали. А выгнали потому, что Ирочка делала все по-своему и позволяла себе критиковать шляпную продукцию. На шинном заводе, куда ее приткнул дядя, Ирочка так безнадежно растерялась, что мастер велел ей на третий день уйти. Нельзя было после десяти лет тихой школьной жизни, без подготовки, без естественных ступеней бросать ее в могучий котел тяжелой индустрии.

А тут... Ничего страшного нет... Они кочуют по городу и чистят стены домов. Ирочка не раз видела молодых девчонок в спецовках, которые делали что-то у аппаратов по очистке стен.

И все-таки она думала... Не заметила, как присела у стола, как в руках оказалось ожерелье... Думала о деле, о том, что ничего несуразного не будет в том, если она наденет спецовку и будет чистить стены домов. И все-таки дело связывалось с лихим лицом пескоструйщика.

Ей не хотелось согласиться с впечатлением, которое он произвел, она думала уничтожить это впечатление, так как считала его ложным, пустым. А впечатление лезло из недр сердца, пело, будило что-то в душе... Плохо.

Очнувшись и увидевши в руках ожерелье, она вспомнила, что до сих пор не надела его. Тогда она заторопилась и по-детски, чуть ли не на одной ноге подскочила к зеркалу в темном углу. Зеркало отразило ее. Ожерелье сверкало на ее смуглой шее.

Ирочка со смехом, с какой-то неизвестной ей лихостью вообразила себя Володькой, который видит впервые Ирочку в этом янтарном ожерелье, и она, Ирочка, очень нравится этому воображаемому Володьке.